

Содержание

От редакции	7
-------------------	---

*Ньюэнен. Антверпен.
«Живопись — это наш дом»*

Ньюэнен. Ок. 7 декабря 1883 — ок. 14 ноября 1885	15
Антверпен. 28 ноября 1885 — ок. 11 февраля 1886	160

*Париж. Арль.
«На фоне громадного желтого солнца»*

Париж. Ок. 28 февраля 1886 — конец октября 1887	197
Арль. 21 февраля 1888 — 3 мая 1889	207

*Сен-Реми-де-Прованс. Овер-сюр-Уаз.
«Звезда в глубокой лазури»*

Сен-Реми-де-Прованс. 9 мая 1889 — 13 мая 1890	471
Овер-сюр-Уаз. 20 мая — 23 июля 1890	579

От редакции

Едва ли не с момента обнародования письма Ван Гога называют уникальным человеческим документом, отмечая их литературные достоинства и ценность в качестве источника знаний о жизни и творчестве художника. Вдова Тео Ван Гога Йоханна, первой начавшая публиковать переписку деверя, даже назвала их «самой полной автобиографией из всех возможных». Действительно, с одной стороны, письма по сей день наш главный источник сведений о жизни художника. Но с другой — те, которые известны нам, неравномерно распределены по времени. Так, между письмами под номерами 154 и 155 почти год: все, что было написано в этот промежуток, пропало или было намеренно уничтожено. Очень немного писем дошло от 1878–1880 годов, когда Ван Гог жил среди бельгийских углекопов: в то время он не слишком аккуратно писал своему главному корреспонденту — брату Тео, и от двух парижских лет (1886–1888), когда братья жили вместе. Некоторые периоды, напротив, были отмечены лихорадочной эпистолярной активностью, когда он мог писать брату ежедневно и даже дважды в день. «Целый год он отправлял брату по одному письму в месяц, но в следующие три недели Тео получил от него девять длинных посланий. Некоторые написаны вдогонку за только что отосланными — мысли теснились, и новое письмо начиналось с того, на чем окончилось предыдущее, составляя один непрерывный словесный поток» — так описывают один из этих периодов Стивен Найфи и Грегори Уайт-Смит, авторы самой свежей и полной биографии художника. Добавим, что письма нередко завершаются постскриптумами (иногда не одним), и некоторые из них длиннее основного текста.

Но даже когда Ван Гог пишет много и с удовольствием, он довольно скупко делится подробностями своей повседневной жизни. Конечно же, они иногда встречаются, но, в общем, мы плохо знаем, чем он обычно питался, где покупал книги (одно из его любимых занятий), чем болел и т. д. Обыденные подробности вроде «съел только ломоть крестьянского хлеба с чашкой кофе в трактирчике, где рисовал прялку», запоминаются очень хорошо именно из-за того, что они редки. (Справедливости ради скажем, что это в меньшей степени относится к письмам 1888–1890 годов.) Два крупнейших кризиса в его жизни — ранение в Арле и обстоятельства, которые привели художника к смерти, — практически не нашли отражения в переписке.

Немногое из писем Ван Гога можно узнать и о людях, с которыми он вступал в общение. Яркий пример — история с Кее Фосс, кузиной Ван Гога, вызвавшей у него чрезвычайно сильное чувство, что привело к настоящему семейному скандалу. Исписывая целые страницы в попытке объяснить свои переживания, он находит для самой женщины лишь несколько самых общих выражений: «Она так добра и приветлива, что для нее невыносимо сказать хоть одно неласковое слово», «в Кее столько жизни и остроумия». Это же повторится позднее с Син, женщиной из низов, с которой Ван Гог жил в Гааге. Из его писем мы мало что узнаем о ней самой и много — об идеальной «семейной» жизни, которая виделась будущему художнику: «Новая мастерская, молодая семья в полном порядке... Все располагает, подталкивает и побуждает к деятельности».

Тем удивительнее на фоне скупых строчек, которые Ван Гог уделяет ближайшим людям из своего окружения, подробные и проникновенные описания пейзажей. Вероятно, именно они заставили Музей нидерландской литературы причислить Ван Гога к перечню «Сто величайших писателей из числа тех, кого нет в живых». В них нашел выражение дар преображать самую убогую действительность: прежде чем взяться за кисть, он уже делал это на словах. Поразительнее всего, пожалуй, описания Дренте — края торфяных болот, едва ли не самого унылого из всех, в какие попадал Ван Гог за свою жизнь, если не считать бельгийского шахтерского края. «Воздух был невыразимо нежного, лиловато-белого цвета — облака не были кудрявыми и плотно покрывали все небо: более или менее яркие пятна, лиловые, серые и белые, и сквозь разрывы в них проглядывала синева. (...) В сумерках на этой равнине довольно часто проявляются эф-

факты, которые англичане называют weird и quaint. На фоне мерцающего вечернего неба виднеются причудливые силуэты мельниц, словно сошедших со страниц романа о Дон Кихоте, или подъемных мостов, диковинных и громадных».

Но конечно, «фирменный знак» вангоговских писем — длиннейшие словесные излияния, обращенные к Тео. Создается впечатление, что мы можем наблюдать за малейшими душевными движениями их автора. Пожалуй, это можно считать верным для самых ранних и самых поздних писем. Не надо забывать, что Ван Гог всю жизнь находился в зависимости от родственников — как моральной, так и материальной; прежде всего это относится к тому же Тео, содержащему своего брата с зимы 1880/81 года и до самой его смерти. Из-за боязни лишиться регулярных денежных поступлений Ван Гог прибегал к разнообразным стратегиям, которые отразились в корреспонденции: угроза порвать отношения, жалобы на невыносимое положение, напоминание об общем прошлом, связывавшем их, — детстве, проведенном вместе, льстивые комментарии относительно талантов Тео и т. д. Стоит помнить, что эти излияния далеко не всегда так спонтанны, как кажется.

Еще одно свойство писем, которое сразу же бросается в глаза, — склонность Ван Гога пропускать все через призму искусства и литературы. В его сознании они, видимо, образовывали некое целостное художественное пространство, и в этом смысле очень любопытно письмо 822, где Ван Гог как ни в чем не бывало сравнивает художника слова и художника кисти: «...Вы... знаете, что следует искать возможного, логического, правдивого, пусть даже придется слегка забыть о парижских вещах в духе Бодлера. Насколько же я предпочитаю Домье этому господину!» Так или иначе, любая или почти любая жизненная ситуация немедленно вызвала множество упоминаний о живописных полотнах, романах и т. д.: Ван Гог искренне верил, что они помогут адресату разобраться в обстоятельствах и, главное, в мотивах самого отправителя, более того — встать на его точку зрения. Так, отцу он советовал читать своего любимого Мишле, в надежде, что это разом уладит все недоразумения, а намного позднее, в Арле, рекомендовал брату прочесть всего (!) «Тартарена» Альфонса Доде, чтобы лучше понять Гогена. При этом, если говорить об авторах, особый интерес Ван Гога всегда вызывали мятежные натуры и вообще те, кто входил в конфликт со своим окружением (как и он сам). Жизненный путь писателя и художника

был для него, пожалуй, важнее всего остального. Это нужно иметь в виду — огромное количество имен, благожелательно упоминаемых в письмах, создает ощущение полной стилистической всеядности, но пристрастия Ван Гога определялись другими мотивами.

Упоминает Винсент Ван Гог и русских писателей: Толстого, Достоевского, Тургенева (не все подобные упоминания вошли в публикуемые письма). Правда, ни одного их художественного произведения Ван Гог не читал и знал о них из вторых рук, от авторов газетных и журнальных заметок. Заметка о Достоевском настолько впечатлила Ван Гога — который, видимо, был тронут описанием нелегкой жизни русского писателя, — что он переслал ее брату и предложил ему сходить в Париже на спектакль по «Преступлению и наказанию». Что касается Толстого, то Ван Гог был впечатлен пересказом его трактата «В чем моя вера?». А в письме 611 мы встречаем еще одну отсылку к Толстому: «Я уподобился русскому, который хотел захватить слишком много земли за один день».

Изначально при ведении корреспонденции Ван Гог в основном пользовался, разумеется, родным нидерландским языком, но значительная часть писем — более 300, или около трети, — написана по-французски. Начиная с 1887 года он пользовался исключительно этим языком в переписке с Тео, а чуть позднее перешел на него и в письмах к сестре Виллемине, не говоря, разумеется, о посланиях, предназначенных для французских художников. Это вполне объяснимо хотя бы одним только влиянием языковой среды. Было проще полностью перейти на французский, чем насыщать письма на нидерландском французскими словами и оборотами, что Ван Гог охотно делал и до того. Да и для самого Тео французский, кажется, стал языком повседневного общения (судя по заметкам, которые он оставил на письмах брата).

Интереснее случай с письмом 155 — как уже говорилось, оно следует после длительного перерыва. Можно считать его в своем роде программным: Ван Гог окончательно оставляет намерение стать проповедником-евангелистом, в его письмах отныне будут отсутствовать цитаты из Библии. Вместо нее он находит для себя новое духовное руководство — учение философа Эмиля Сувестра (ныне забытого, точнее, известного едва ли не только благодаря Ван Гогу). Через несколько месяцев, уже избрав для себя карьеру художника, Ван Гог вернется к нидерландскому, но этот переломный момент он, видимо, счел нужным обозначить также и сменой языка.

Изучая французский с ранней юности, проведя год в Париже и около трех лет — во франкоязычных регионах Бельгии, Ван Гог достаточно свободно владел этим языком, хотя, разумеется, не так, как носители. Среди отличительных признаков его писем — пренебрежение к пунктуации, диакритике и апострофам, что, впрочем, свойственно и посланиям на нидерландском, неумеренное употребление сослагательного наклонения (*subjonctif*), слишком свободный синтаксис, любовь к выражениям собственного изобретения, составленным из двух французских, — над чем смеялся, например, Гоген. Но в целом, скорее, следует говорить о том, что страсть к экспрессивности подавляла стремление к точности выражения. А если брать письменную речь, то Ван Гог выглядел высокообразованным интеллектуалом по сравнению со многими природными французами, вроде его приятеля почтальона Рулена.

При всей сбивчивости и даже бессвязности некоторых текстов (особенно написанных в минуты сильного душевного волнения и тем более нездоровья) Ван Гог по большей части предстает в них как рационально мыслящий человек, способный ставить цели и планомерно добиваться намеченного, практикующий строгую самодисциплину. В письмах арльского периода как будто повторяется рефрен: новое («импрессионистское», как выражался Ван Гог) искусство победит, его картины будут цениться, благодаря им его брат станет состоятельным человеком, даже если ему придется расстаться со здоровьем, а возможно, и с жизнью. Эти планы спутала лишь ранняя смерть Тео, в остальном же все так и вышло. Уместно завершить этот небольшой очерк словами У. Х. Одена: «Прочитав его переписку, невозможно думать о нем как о романтическом *artiste maudit* [проклятом художнике] или даже как о трагическом герое: несмотря ни на что, они в конечном счете оставляют впечатление торжества».

*Владимир Петров,
переводчик, редактор*

* * *

Во второй том нового перевода эпистолярного наследия Винсента Ван Гога вошли письма, написанные художником с 1883 по 1890 год.

Настоящая двухтомная антология включает в себя новые переводы примерно третьей части сохранившихся писем Ван Гога. Источни-

ком текстов писем послужило наиболее полное и авторитетное на данный момент научное интернет-издание www.vangoghletters.org, подготовленное ведущими мировыми специалистами в рамках «Van Gogh Letters Project» (1994–2009; на сайте можно ознакомиться с полным корпусом писем Ван Гога в факсимильном варианте, в виде текста на языке оригинала, а также в комментированном переводе на английский язык). Номера, с которых в нашем издании начинается заголовок каждого письма, приводятся в соответствии именно с изданием «Van Gogh Letters Project».

Все публикуемые письма приводятся полностью, композиция и специфическая графика текста, насколько это возможно, чтобы не затруднять чтение, повторяют оригинальную.

В качестве источника дополнительных сведений о жизни и творчестве Винсента Ван Гога, о взаимоотношениях в его семье, о его художественных и литературных пристрастиях мы обращаем внимание читателя на фундаментальную биографию Стивена Найфи и Грегори Уайт-Смита «Ван Гог. Жизнь» — наиболее полную из существующих на данный момент, авторы которой привлекают обширный исторический материал, детально анализируя эпистолярное наследие художника на фоне широчайшего исторического и культурного контекста. Книга переведена на русский язык.

Нюэнен. Антверпен
«Живопись —
это наш дом»





Нюэнен

ок. 7 декабря 1883 — ок. 14 ноября 1885

К окончанию осени 1883 года Винсент, разочаровавшись в жизни в Дренте, а также, по всей видимости, встревоженный намеком Тео на нестабильность финансового положения последнего, вновь отправляется искать прибежища в доме родителей, к тому моменту снова сменивших место жительства и перебравшихся в Нюэнен, близ Эйндховена. 5 декабря 1883 года Винсент переступил порог родительского дома, где он проведет почти два года. Здесь, в сельской местности, он планирует совершенствоваться в изображении крестьян и рабочих. Первыми его внимание привлекают ткачи, словно запертые в клетках своих хитроумных станков. Когда погода не позволяет работать на улице, Винсент работает над многочисленными натюрмортами. Он продолжает упорно совершенствовать навыки живописца, не оставляя также и рисования. Его новая цель — начать создавать работы на продажу, которые он мог бы посылать Тео в обмен на финансовую помощь.

Одним из его постоянных адресатов и близких друзей остается молодой художник Антон ван Раппард, с которым они вместе занимаются живописью. В то же время Винсент дает уроки местному художнику-любителю. С мая 1884 года он арендует просторную студию.

В письмах этого периода упоминается имя Марго Бегеманн, дочери соседней, с которой Винсент вступает в отношения и некоторое время даже планирует заключить брак. Однако затем постепенно отказывается от этой мысли, возможно из-за яростного противодействия обеих семей. Марго, по-видимому обладавшая не вполне стабильной психикой, предпринимает попытку самоубийства. Отношения с родными становятся все более напряженными. В конце марта внезапно умирает отец, пастор Теодорус Ван Гог, и Винсент после ссоры с сестрой Анной перебирается жить из родительского дома в мастерскую.

В Ньюэне художник создает огромное количество рисунков и живописных набросков — крестьян за работой, эскизов крестьянок в чепцах и пр. Его главным свершением оказывается живописное полотно «Едоки картофеля».

В письмах этого периода доминировавшую прежде религиозную тему вытесняют рассуждения о художниках, искусстве и теории цвета, а наиболее цитируемыми авторами становятся Феликс Бракемон, Теофиль Сильвестр, Эдмон де Гонкур, Альфред Сансье, Жан Жигу, Шарль Блан и Виллем Бюргер (псевдоним Теофиля Торе).

410 (345). Тео Ван Гог. Ньюэнен, пятница, 7 декабря 1883, или около этой даты

Дорогой Тео,

после того как я написал тебе вчера вечером, Тео, я полночи пролежал без сна.

Я до глубины души опечален тем, что, хотя по возвращении после двух лет отсутствия меня приняли дома очень ласково и сердечно, в сущности, ничто, ничто, ничто из того, что я в отчаянии должен назвать ослеплением и глупостью, когда речь заходит о понимании обстоятельств. Все шло очень хорошо до того момента, когда папа — не только в гневе, но и потому, что «он устал от этого», — отказал мне от дома. А тогда нужно бы-

ло понять, что это очень важно для моего успеха или неуспеха, и мне стало в десять раз труднее — почти невыносимо.

Если бы тогда я не почувствовал того же, что чувствую теперь, — что, несмотря на все благие намерения, несмотря на радушный прием, несмотря на все, что угодно, в папе есть какая-то железная твердость и ледяная холодность, нечто ранящее, как сухой песок, стекло или жель, — несмотря на всю его внешнюю мягкость; если бы тогда, говорю, я уже не чувствовал этого, как и теперь, я не был бы так оскорблен. Теперь я снова испытываю почти невыносимую нерешительность и внутреннюю борьбу.

Наверное, ты понимаешь, что я не стал бы писать так, как пишу, — по собственному побуждению приехав сюда, совладав с собственной гордостью, — если бы в самом деле не произошло то, что возмутило меня.

Если бы теперь я увидел хоть какую-то ГОТОВНОСТЬ сделать так, как поступили Раппарды, достигнув лучших результатов, и так, как мы начинали здесь, тоже с хорошими результатами, если бы теперь я увидел, что папа тоже понял, что *не* должен был выставлять меня за дверь, я был бы спокоен за свое будущее.

Но ничего, ничего из этого. Ни тогда, ни сейчас в папе не было и нет ни следа, ни намека, ни тени сомнения в том, правильно ли он тогда поступил.

Папе, в отличие от тебя, меня, любого, кто человечен, незнакомо раскаяние. Папа верит в собственную праведность, тогда как ты, я и другие человеческие люди проникнуты ощущением, что мы *состоим* из ошибок и напрасных усилий.

Мне жаль таких людей, как папа, *я не могу держать на них зла в своем сердце*, потому что считаю их несчастнее меня самого. Почему я считаю, что они несчастнее меня? Потому что даже то хорошее, что в них есть, они применяют неправильно, и оно действует во зло, потому что *свет*, который в них есть, черен, и вокруг них распространяется темнота, мрак. Их сердечный прием приводит меня в отчаяние, их *примирение* без

осознания ошибки для меня хуже — если это вообще возможно — самой ошибки.

Вместо готовности понимать и, следовательно, с определенным рвением способствовать моему и, косвенно, своему благополучию я во всем чувствую колебания и нерешительность, которые парализуют мое желание и мою энергию, как свинцовая атмосфера.

Мой мужской разум подсказывает, что я должен считать нашу с папой глубочайшую непримиримость роковой неизбежностью. Мое сочувствие и к папе, и к самому себе говорит мне: «Непримиримы? *Не может быть!*», до самой бесконечности существует возможность, нужно верить в возможность окончательного примирения. Но это последнее — почему оно, к сожалению, лишь «иллюзия», по всей видимости?

Ты считаешь, что я слишком тяжело воспринимаю все это? Наша жизнь — жуткая реальность, и мы сами идем в бесконечность, которая есть — есть, — а наше восприятие, легче оно или тяжелее, никак не влияет на суть вещей.

Так я думаю об этом, например, ночью, когда лежу без сна, так я думаю об этом во время вечерней бури над пустошью, в печальных сумерках.

Возможно, днем, в повседневной жизни, я иногда выгляжу бесчувственным, как кабан, и легко могу понять, что люди считают *меня* грубым. Когда я был моложе, я гораздо чаще, чем сейчас, думал, что это происходит из-за случайностей, или мелочей, или недоразумений, которые безосновательны. Но с возрастом я все чаще отказываюсь от этого мнения и вижу более глубокие причины. Жизнь — тоже «странная штука», брат.

Ты, наверное, видишь, в каком потрясении я пишу эти письма: то я думаю, что *это может быть*, то — что *этого не может быть*. Мне ясно одно: дело идет не *гладко*, как я говорил, и нет никакой «готовности». Я решил пойти к Раппарду и сказать ему, что и сам предпочел бы жить дома, но, несмотря на все возможные преимущества этого, остается непонимание с папой,

которое я, к сожалению, начинаю считать непоправимым и которое делает меня апатичным и бессильным.

Вчера вечером было решено, что я на какое-то время останусь здесь, а на следующее утро, несмотря ни на что, — все сначала — давай подумаем об этом еще раз. Ну да, утро вечера мудренее, подумать!!! *Как будто не было ДВУХ ЛЕТ, чтобы об этом* подумать, когда НУЖНО БЫЛО подумать об этом как о чем-то само собой разумеющемся, как о чем-то естественном.

Два года, для меня — ежедневной тревоги, для них — обычной жизни, будто ничего не произошло и не могло бы произойти, на них не давило это бремя. Ты говоришь, они этого не выражают, хоть и чувствуют. НЕ ВЕРЮ. Я и сам когда-то так думал, но тут *что-то не так*.

Как ЧУВСТВУЕШЬ, ТАК и *поступаешь*. Наши ПОСТУПКИ, наши скоропалительные желания или наши колебания — *нас узнают по ним*, а не по тому, что мы говорим устами своими — ласково или неласково. Добрые намерения, мнения, вообще-то, *меньше, чем ничто*.

Можешь думать обо мне что угодно, Тео, но говорю тебе: это не мое воображение, говорю тебе: *папа не хочет*.

Сейчас я вижу то, что видел *тогда*, тогда я откровенно говорил с папой, сейчас я, *во всяком случае*, говорю, как идет дело, опять-таки с ПАПОЙ, который НЕ *хочет*, который делает это НЕВОЗМОЖНЫМ. Чертовски досадно, брат: Раппарды поступили разумно, а тут!!!!!! Что бы ты ни сделал и ни делал сейчас, это будет на $\frac{3}{4}$ напрасно из-за *них*. Скверно, брат. Жму руку.

Всегда твой
Винсент

Меня не волнует радушный или нерадушный прием, меня огорчает, что они не сожалеют о сделанном ими тогда. Они думают, что НИЧЕГО *тогда* НЕ СДЕЛАЛИ, и это для меня уже слишком.

413 (346). Тео Ван Гог. Нюэнен, суббота, 15 декабря 1883, или около этой даты

Дорогой брат,

я чувствую, как папа и мама *инстинктивно* (не говорю «*сознательно*») думают обо мне.

Представление о том, чтобы взять меня в дом, подобно тому, как если бы в доме появился большой лохматый пес. Он будет входить в комнату с мокрыми лапами, и потом, он же такой лохматый. Он будет путаться у всех под ногами. *И он так громко лает.*

Грязное животное, короче говоря.

Пусть так, но у этого животного есть человеческая история и, хоть это и пес, человеческая душа, притом чувствительная настолько, чтобы чувствовать, что о нем думают, на что обычная собака не способна.

И я, соглашаясь с тем, что я вроде пса, принимаю их такими, каковы они есть.

Этот дом также слишком хорош для меня, и папа, и мама, и вся семья чрезмерно милы (однако при этом не испытывают чувств), и — и — это пасторы, множество пасторов. Значит, пес понимает, что, если бы его оставили, ему пришлось бы слишком много вынести, слишком много вытерпеть «В ЭТОМ ДОМЕ», и он будет подыскивать себе конуру где-нибудь в другом месте.

Вообще-то, пес когда-то был папиным сыном, и папа сам слишком часто оставлял его на улице, где он неизбежно становился грубее, но поскольку папа уже много лет назад забыл об этом и, вообще-то, никогда глубоко не задумывался о том, что значит связь между отцом и сыном, то нечего об этом и говорить.

Потом, пес мог бы и укусить, если бы взбесился, тогда должен был бы прийти жандарм, чтобы его пристрелить. Ну что ж — да, все это правда, совершенно точно.

С другой стороны, собаки бывают сторожами. Но это лишнее, говорят, сейчас мир и нет никакой опасности, все хорошо. Значит, я промолчу.

Пес сожалеет только о том, что не держался подальше, потому что даже на пустоши было не так одиноко, как в этом доме, несмотря на все радушие. Пес зашел из слабости, и я надеюсь, что о ней забудут, а он впредь постарается не допускать такого.

Пока я был здесь, у меня не было никаких расходов и я дважды получил от тебя деньги, поэтому сам оплатил поездку и заплатил за одежду, которую купил папа — моя была недостаточно хороша, — а кроме того, выплатил 25 гульденов другу Раппарду.

Думаю, тебя это порадует, иначе вышло бы некрасиво.

Дорогой Тео,

приложенное — это письмо, которое я уже писал, когда получил твое. И я хочу ответить на него, внимательно прочитав, что ты пишешь. Для начала, я считаю благородным с твоей стороны, что ты, полагая, что я обременяю папу, принимаешь его сторону и делаешь мне порядочный выговор.

Полагаю, это то, что я в тебе ценю, хотя ты вступаешь в борьбу с тем, кто не враг ни тебе, ни папе, но кто, тем не менее, ставит перед папой и перед тобой серьезные вопросы. Говоря тебе, что говорю я, испытывая такое и спрашивая, почему это так.

Кроме того, во многих отношениях твои ответы на разные места в моем письме показывают мне те стороны вопросов, которые касаются и меня самого. Твои сомнения — отчасти и мои сомнения, но не полностью. Поэтому я снова вижу в них твою добрую волю, а также твою склонность к примирению и миру, в чем я, собственно, не сомневаюсь. Но, брат, в ответ на твои намеки я тоже мог бы представить очень много сомнений, только я думаю, что это был бы длинный путь, а есть более короткий.

Склонность к миру и примирению есть и у папы, и у тебя, и у меня. И все же, кажется, мы не можем помириться. Теперь я считаю, что камень преткновения — я сам, и поэтому я должен попытаться отыскать что-то, чтобы впредь не *«обременять»* ни тебя, ни папу.

Теперь я готов сделать так, чтобы папе и маме было как можно удобнее, как можно спокойнее.

Значит, ты тоже считаешь, что именно я *обременяю* папу и что я *малодушен*. *Раз так* — ради папы и тебя я постараюсь держать все в себе. Кроме того, я не стану больше навещать папу и буду придерживаться своего предложения (ради взаимной свободы мыслей *и также* ради того, чтобы *не ОБРЕМЕНЯТЬ тебя*: я боюсь, что ты невольно начинаешь так считать); если ты его примешь, к марту нашей договоренности относительно денег настанет конец.

Я оставляю какой-то срок для порядка, чтобы у меня осталось время на шаги, которые лишь с малой вероятностью приведут к успеху, но которые мне, по совести, нельзя откладывать в сложившихся обстоятельствах.

Ты должен воспринять это спокойно и воспринять по-доброму, брат, я же вовсе не ставлю тебе ультиматума. Но если наши чувства уже слишком сильно различаются, ну что же — мы не должны заставлять себя делать вид, будто все в порядке. Разве не так думаешь и ты, до некоторой степени?

Ты же знаешь, не так ли: я считаю, что *ты спас мне жизнь*, этого я НИКОГДА не забуду, я ведь не только твой брат и твой друг, *даже после того, как мы положим конец* отношениям, которые, боюсь, вызвали бы ложное положение; я обязан *вечно* хранить преданность тебе за то, что ты делал в то время, протягивая мне руку и упорно помогая.

Можно отдать деньги, но как воздать за доброту, подобную твоей?

Поэтому позволь и мне это сделать — только я разочарован тем, что примирение до сих пор не состоялось — и я желал бы, чтобы это еще было возможно, но вы, люди, меня не понимаете и, боюсь, *никогда* не поймете. Если сможешь, пришли мне обычное письмо с обратной почтой, *тогда мне не придется просить у папы*, когда я буду уходить, а это нужно сделать как можно скорее.

23,80 гульдена от 1 дек. полностью отдал папе

(возмещение одолженных 14 гульденов, за башмаки и брюки вместе 9 гульденов)

„ „ 25 „ „ 10 „ „ „ „ „ „ Раппарду

У меня в кармане остались еще четвертак и несколько центов. Вот счет, который будет понятен тебе, если ты будешь также знать, что за жилье в Дренте, снятое на долгое время, я уплатил из денег за 20 ноября, которые пришли 1 декабря из-за какой-то заминки, позже улаженной, а из 14 гульденов (которые я одолжил у папы и с тех пор отдал) я оплатил свою поездку и т. д.

Отсюда я поеду к Раппарду.

А от Раппарда, может быть, к Мауве. Стало быть, давай постараемся спокойно привести все в порядок.

В моем откровенно высказанном мнении о папе слишком много такого, что я не могу взять обратно в нынешних обстоятельствах. Я ценю твои возражения, но многие из них не могу считать убедительными, о других я и сам уже думал, хотя написал то, что написал.

Свои чувства я излил в сильных выражениях, и они, естественно, изменяются благодаря признанию всего хорошего в папе, эти изменения, конечно, значительны.

Позволь сказать тебе: я не знал никого, кто в 30 лет был бы «мальчиком», особенно если он за эти 30 лет испытал больше любого другого. Тем не менее, если хочешь, считай мои слова словами мальчика.

Я не несу ответственности за твое восприятие моих слов, не так ли? *Это* твое дело.

Что касается папы, то, как только мы расстанемся, я буду волен выбросить из головы все, что он обо мне думает.

Возможно, политически верно молчать о своих чувствах, однако мне всегда казалось, что художник обязан прежде всего быть искренним: понимают ли люди, что я говорю, правильно или неправильно они меня оценивают — как ты сам мне когда-то сказал, от этого для меня ничего не прибудет и не убудет.

Что ж, брат, знай: несмотря на любые расхождения, я — может быть, *гораздо больше, чем ты знаешь или чувствуешь*, — остаюсь твоим другом и даже другом папы. Жму руку.

Всегда твой
Винсент

Во всяком случае, я не враг ни папе, ни тебе и никогда не стану *им*.

Написав вложенное письмо, я снова обдумал твои замечания и снова поговорил с папой. Я твердо стою на своем решении не оставаться здесь, независимо от того, как его воспримут и что из этого выйдет, однако тогда разговор принял другой оборот, потому что я сказал: я тут уже две недели, но чувствую, что не продвинулся дальше, чем за первые полчаса; если бы мы лучше понимали друг друга, то уже во всем разобрались бы и все уладили; я не могу терять времени и должен решить.

Дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Середины для меня нет, да она и невозможна. Теперь дело закончилось тем, что та комнатенка в доме, где сейчас стоит каток для белья, будет отдана мне и послужит чуланом для всякой всячины, а также, при благоприятных обстоятельствах, мастерской. И тем, что эту комнату принялись освобождать, хотя сначала это не имелось в виду и дело еще не решено.

Хочу сказать кое-что о том, что лучше понял с тех пор, как написал тебе, что думаю о папе. Я смягчил свое мнение отчасти

благодаря тому, что, как мне кажется, я обнаружил в папе (и один из твоих намеков в некоторой степени этому соответствует) признаки того, что он в самом деле не может следовать за ходом моих мыслей, когда я пытаюсь что-то объяснить. Он задерживается на кое-каких моих словах, которые, будучи вырванными из контекста, звучат неверно. Это может быть обусловлено многими причинами, но по большей части в этом виновата старость. Что ж, старость и ее слабости я уважаю, *как и ты, даже если* тебе так не кажется или ты мне не веришь. Я имею в виду, что, вероятно, прощаю папе то, на что обиделся бы, будь он в полном разумении, — по упомянутой причине.

Я вспомнил также высказывание Мишле (которое он услышал от зоолога): «Самец чрезвычайно дик». А поскольку сейчас, на данном этапе моей жизни, о себе самом я знаю, что у меня сильные страсти, и, по-моему, так и должно быть — во всяком случае, как я себя вижу, — я могу быть «очень дик». И все же моя страсть успокаивается, когда передо мной более слабый, тогда я не борюсь.

Хотя, впрочем, спорить на *словах* или о принципах с человеком, который, заметим, в обществе занимает положение, относящееся к управлению духовной жизнью людей, разумеется, не только позволительно, но и ни в коей мере не может быть трусостью, ведь вооружение одинаково. Если хочешь, поразмысли над этим, тем более если я говорю, что по многим причинам хочу отказаться от словесного спора, поскольку иногда подумываю, что папа больше не способен сосредоточиться на отдельном вопросе.

Ведь в некоторых случаях возраст человека добавляет ему сил.

Касаясь сути вопроса, я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать тебе: по-моему, именно под влиянием папы ты сосредоточился на торговле больше, чем это заложено в твоей натуре.

И я верю: пусть сейчас ты еще настолько уверен в своем деле, что должен оставаться торговцем, определенное начало

в твоей натуре *будет действовать*, и, может быть, так сильно, как ты и не подозреваешь.

Поскольку я знаю, что в первые же годы у «Гупиль и К°» нам одновременно пришла мысль о том, чтобы стать художником, такая сокровенная, что тогда мы даже друг другу не осмелились сказать это прямо, я вполне допускаю, что в эти более поздние годы мы сближаемся. Тем более под влиянием обстоятельств и состояния самой торговли, которое изменилось по сравнению с нашими ранними годами и, на мой взгляд, будет меняться все больше и больше.

В то время *я так сильно* принуждал себя и на меня так давило предубеждение, что я уж точно не художник, что, *даже когда я ушел из «Гупиль и К°»*, я обращал свои мысли не на это, а на что-то другое (что было второй ошибкой, еще больше первой). Тогда я был обескуражен этой невозможностью, из-за чего робкие, очень робкие шаги навстречу нескольким художникам даже не были ими замечены. Я говорю это тебе не потому, что хочу *заставить* тебя думать как я, — я никого не заставляю, — я говорю это просто из братского, дружеского доверия.

Мои соображения иногда могут быть несоразмерными, очень возможно. И все же я верю, что в их характере, и в действии, и в направлении *должна* быть доля правды. Я сейчас работал над тем, чтобы дом снова был для меня открыт, вплоть до того, чтобы у меня была там мастерская, и делаю это, в первую очередь или главным образом, не из себялюбия.

Я вижу в этом вот что: хотя мы во многом не понимаем друг друга, всегда или иногда, ты, папа и я готовы проявить добрую волю, чтобы сотрудничать. Поскольку отдаление происходит долго, не может быть никакого вреда в том, чтобы попытаться положить груз на другую сторону, чтобы мы не казались людям более разобщенными, чем есть сейчас, чтобы не впадать перед людьми в крайности.

Раппард говорит мне: «Человек не будет куском торфа в той мере, в какой он не может вынести, чтобы его, как кусок торфа, забросили на чердак и забыли там» — и указывает, что, по его мнению, для меня было большим несчастьем, что мне отказали

от дома. Если хочешь, подумай об этом. Думаю, будет преувеличением считать, что я действовал своевольно или самоуверенно, или — что ж, ты сам знаешь это лучше, чем я, — меня более или менее принуждали делать одно и другое и я мог делать только то, что хотели видеть они.

А именно предвзятое мнение о низменности моих целей и т. д. сделало меня очень холодным и довольно безразличным по отношению кое к кому.

Брат, еще раз: много думай на этой стадии своей жизни, полагаю, тебе грозит искаженное представление о многих вещах, и думаю, что тебе нужно еще раз проверить перспективы своей жизни — тогда *твоя жизнь* станет ЛУЧШЕ. Я говорю не так, будто я знал об этом, а ты не знал, я говорю это потому, что все больше начинаю осознавать: ужасно трудно узнать, в чем ты прав, а в чем не прав.

417 (350). Тео Ван Гогу. Ньюэнен, среда, 26 декабря 1883, или около этой даты

Дорогой Тео,

вчера вечером я вернулся в Ньюэнен, и мне надо сразу же рассказать тебе то, что я должен рассказать.

Свои принадлежности, этюды и пр. я собрал и отправил сюда, и, пока папа и мама освобождают маленькую комнату, я уже устроился на новом рабочем месте, где надеюсь добиться кое-каких успехов.

Сообщаю также, что разговаривал с той женщиной и что наше решение, еще более окончательное, состоит в том, что в любом случае она останется сама по себе, а я сам по себе, чтобы люди не могли справедливо упрекать нас.

Теперь, когда мы в разлуке, мы останемся в разлуке, только задним числом сожалеем, что не выбрали среднего пути, и даже сейчас остается взаимная привязанность, корни или причины которой слишком глубоки, чтобы она была преходящей.